

Иван Тургенев

Накануне



Часть сборника
Дворянское гнездо (сборник)



Иван Сергеевич Тургенев

Накануне

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=172478
Дворянское гнездо: Эксмо-Пресс; Москва; 2006
ISBN 5-04-003405-9, 5-699-18514-3*

Аннотация

«В тени высокой липы, на берегу Москвы-реки, недалеко от Кунцова, в один из самых жарких летних дней 1853 года лежали на траве два молодых человека. Один, на вид лет двадцати трех, высокого роста, черномазый, с острым и немного кривым носом, высоким лбом и сдержанною улыбкой на широких губах, лежал на спине и задумчиво глядел вдаль, слегка прищулив свои небольшие серые глазки; другой лежал на груди, подперев обеими руками кудрявую белокурую голову, и тоже глядел куда-то вдаль...»

Содержание

1	4
2	9
3	11
4	13
5	16
6	19
7	21
8	24
9	27
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Иван Тургенев

Накануне

1

В тени высокой липы, на берегу Москвы-реки, недалеко от Кунцова, в один из самых жарких летних дней 1853 года лежали на траве два молодых человека. Один, на вид лет двадцати трех, высокого роста, черномазый, с острым и немного кривым носом, высоким лбом и сдержанною улыбкой на широких губах, лежал на спине и задумчиво глядел вдаль, слегка прищурив свои небольшие серые глазки; другой лежал на груди, подперев обеими руками кудрявую белокурую голову, и тоже глядел куда-то вдаль. Он был тремя годами старше своего товарища, но казался гораздо моложе, усы его едва пробились, и на подбородке вился легкий пух. Было что-то детски-миловидное, что-то привлекательно изящное в мелких чертах его свежего, круглого лица, в его сладких, карих глазах, красивых, выпуклых губках и белых ручках. Все в нем дышало счастливою веселостью здоровья, дышало молодостью — беспечностью, самонадеянностью, избалованностью, прелестью молодости. Он и поводил глазами, и улыбался, и подпирал голову, как это делают мальчишки, которые знают, что на них охотно заглядываются. На нем было просторное белое пальто вроде блузы; голубой платок охватывал его тонкую шею, измятая соломенная шляпа валялась в траве возле него.

В сравнении с ним его товарищ казался стариком, и никто бы не подумал, глядя на его угловатую фигуру, что и он наслаждается, что и ему хорошо. Он лежал неловко; его большая, кверху широкая, книзу заостренная голова неловко сидела на длинной шее; неловкость сказывалась в самом положении его рук, его туловища, плотно охваченного коротким черным сюртучком, его длинных ног с поднятыми коленями, подобных задним ножкам стрекозы. Со всем тем нельзя было не признать в нем хорошо воспитанного человека; отпечаток «порядочности» замечался во всем его неуклюжем существе, и лицо его, некрасивое и даже несколько смешное, выражало привычку мыслить и доброту. Звали его Андреем Петровичем Берсеневым; его товарищ, белокурый молодой человек, прозывался Шубиным, Павлом Яковлевичем.

— Отчего ты не лежишь, как я, на груди? — начал Шубин. — Так гораздо лучше. Особенно когда поднимешь ноги и стучишь каблуками дружку о дружку — вот так. Трава под носом: надоест глазеть на пейзаж — смотри на какую-нибудь пузатую козявку, как она ползет по былинке, или на муравья, как он суетится. Право, так лучше. А то ты принял теперь какую-то псевдоклассическую позу, ни дать ни взять танцовщица в балете, когда она облокачивается на картонный утес. Ты вспомни, что ты теперь имеешь полное право отдыхать. Шутка сказать: вышел третьим кандидатом! Отдохните, сэр; перестаньте напрягаться, раскиньте свои члены!

Шубин произнес всю эту речь в нос, полулениво, полушутливо (балованные дети говорят так с друзьями дома, которые привозят им конфеты), и, не дождавшись ответа, продолжал:

— Меня больше всего поражает в муравьях, жуках и других господах насекомых их удивительная серьезность; бегают взад и вперед с такими важными физиономиями, точно и их жизнь что-то значит! Помилуйте, человек, царь создания, существо высшее, на них взирает, а им и дела до него нет: еще, пожалуй, иной комар сядет на нос царю создания и станет употреблять его себе в пищу. Это обидно. А с другой стороны, чем их жизнь хуже нашей жизни? И отчего же им не важничать, если мы позволяем себе важничать? Ну-ка, философ, разреши мне эту задачу! Что ж ты молчишь? А?

– Что? – проговорил, встрепунувшись, Берсенов.

– Что! – повторил Шубин. – Твой друг излагает перед тобою глубокие мысли, а ты его не слушаешь.

– Я любовался видом. Посмотри, как эти поля горячо блестят на солнце! (Берсенов немного пришепetyвал.)

– Важный пущен колер, – промолвил Шубин. – Одно слово, натура!

Берсенов покачал головой.

– Тебе бы еще больше меня следовало восхищаться всем этим. Это по твоей части: ты артист.

– Нет-с; это не по моей части-с, – возразил Шубин и надел шляпу на затылок. – Я мясник-с; мое дело – мясо, мясо лепить, плечи, ноги, руки, а тут и формы нет, законченности нет, разъехалось во все стороны... Пойди поймай!

– Да ведь и тут красота, – заметил Берсенов. – Кстати, кончил ты свой барельеф?

– Какой?

– Ребенка с козлом.

– К черту! К черту! К черту! – воскликнул нараспев Шубин. – Посмотрел на настоящих, на стариков, на антики, да и разбил свою чепуху. Ты указываешь мне на природу и говоришь: «И тут красота». Конечно, во всем красота, даже и в твоем носе красота, да за всякою красотой не угоняешься. Старики – те за ней и не гонялись; она сама сходила в их создания, откуда – Бог весть, с неба, что ли. Им весь мир принадлежал; нам так широко распространяться не приходится: коротки руки. Мы закидываем удочку на одной точечке, да и караулим. Ключет, браво! а не ключет...

Шубин высунул язык.

– Постой, постой, – возразил Берсенов. – Это парадокс. Если ты не будешь сочувствовать красоте, любить ее всюду, где бы ты ее ни встретил, так она тебе и в твоём искусстве не дастся. Если прекрасный вид, прекрасная музыка ничего не говорят твоей душе, я хочу сказать, если ты им не сочувствуешь...

– Эх ты, сочувственник! – брякнул Шубин и сам засмеялся новоизобретенному слову, а Берсенов задумался. – Нет, брат, – продолжал Шубин, – ты умница, философ, третий кандидат Московского университета, с тобой спорить страшно, особенно мне, недоучившемуся студенту; но я тебе вот что скажу: кроме своего искусства, я люблю красоту только в женщинах... в девушках, да и то с некоторых пор...

Он перевернулся на спину и заложил руки за голову.

Несколько мгновений прошло в молчании. Тишина полуденного зноя тяготела над сияющей и заснувшей землей.

– Кстати, о женщинах, – заговорил опять Шубин. – Что это никто не возьмет Стахова в руки? Ты видел его в Москве?

– Нет.

– Совсем с ума сошел старец. Сидит по целым дням у своей Августины Христиановны, скучает страшно, а сидит. Глазют друг на друга, так глупо... Даже противно смотреть. Вот поди ты! Каким семейством Бог благословил этого человека: нет, подай ему Августину Христиановну! Я ничего не знаю гнуснее ее утиной физиономии! На днях я вылепил ее карикатуру, в дантовском вкусе. Очень вышло недурно. Я тебе покажу.

– А Елены Николаевны бюст, – спросил Берсенов, – подвигается?

– Нет, брат, не подвигается. От этого лица можно в отчаяние прийти. Посмотришь, линии чистые, строгие, прямые; кажется, не трудно схватить сходство. Не тут-то было... Не дается, как клад в руки. Заметил ты, как она слушает? Ни одна черта не тронется, только выражение взгляда беспрестанно меняется, а от него меняется вся фигура. Что тут прика-

жешь делать скульптору, да еще плохому? Удивительное существо... странное существо, – прибавил он после короткого молчания.

– Да; она удивительная девушка, – повторил за ним Берсенеv.

– А дочь Николая Артемьевича Стахова! Вот после этого и рассуждай о крови, о породе. И ведь забавно то, что она точно его дочь, похожа на него и на мать похожа, на Анну Васильевну. Я Анну Васильевну уважаю от всего сердца, она же моя благодетельница; но ведь она курица. Откуда же взялась эта душа у Елены? Кто зажег этот огонь? Вот опять тебе задача, философ!

Но «философ» по-прежнему ничего не отвечал! Берсенеv вообще не грешил многоглаголением и, когда говорил, выражался неловко, с запинками, без нужды разводя руками; а в этот раз какая-то особенная тишина нашла на его душу, тишина, похожая на усталость и на грусть. Он недавно переселился за город после долгой и трудной работы, отнимавшей у него по несколько часов в день. Бездействие, негa и чистота воздуха, сознание достигнутой цели, прихотливый и небрежный разговор с приятелем, внезапно вызванный образ милого существa, все эти разнородные и в то же время почему-то сходные впечатления слились в нем в одно общее чувство, которое и успокаивало его, и волновало, и обессиливало... Он был очень нервический молодой человек.

Под липой было прохладно и спокойно; залетавшие в круг ее тени мухи и пчелы, казалось, жужжали тише; чистая мелкая трава изумрудного цвета, без золотых отливов, не колыхалась; высокие стебельки стояли неподвижно, как очарованные; как мертвые, висели маленькие гроздьa желтых цветов на нижних ветках липы. Сладкий запах с каждым дыханием втеснялся в самую глубь груди, но грудь им охотно дышала. Вдали, за рекой, до небосклона все сверкало, все горело; изредка пробежал там ветерок и дробил и усиливал сверкание; лучистый пар колебался над землей. Птиц не было слышно: они не поют в часы зноя; но кузнечики трещали повсеместно, и приятно было слушать этот горячий звук жизни, сидя в прохладе, на покое: он клонил ко сну и будил мечтания.

– Заметил ли ты, – начал вдруг Берсенеv, помогая своей речи движениями рук, – какое странное чувство возбуждает в нас природа? Все в ней так полно, так ясно, я хочу сказать, так удовлетворено собою, и мы это понимаем и любимся этим, и в то же время она, по крайней мере во мне, всегда возбуждает какое-то беспокойство, какую-то тревогу, даже грусть. Что это значит? Сильнее ли сознаем мы перед нею, перед ее лицом, всю нашу неполноту, нашу неясность, или же нам мало того удовлетворения, каким она довольствуется, а другого, то есть я хочу сказать, того, чего нам нужно, у нее нет?

– Гм, – возразил Шубин, – я тебе скажу, Андрей Петрович, отчего все это происходит. Ты описал ощущения одинокого человека, который не живет, а только смотрит да млеет. Чего смотреть? Живи сам и будешь молодцом. Сколько ты ни стучись природе в дверь, не отзовется она понятным словом, потому что она немая. Будет звучать и ныть, как струна, а песни от нее не жди. Живая душа – та отзовется, и по преимуществу женская душа. А потому, благородный друг мой, советую тебе запастись подругой сердца, и все твои тоскливые ощущения тотчас исчезнут. Вот что нам «нужно», как ты говоришь. Ведь эта тревога, эта грусть, ведь это просто своего рода голод. Дай желудку настоящую пищу, и все тотчас придет в порядок. Займи свое место в пространстве, будь телом, братец ты мой. Да и что такое, к чему природа? Ты послушай сам: любовь... какое сильное, горячее слово! Природа... какое холодное, школьное выражение! А потому (Шубин запел): «Да здравствует Марья Петровна!» – или нет, – прибавил он, – не Марья Петровна, ну да все равно! Ву ме компрене.¹

Берсенеv приподнялся и оперся подбородком на сложенные руки.

¹ Вы меня понимаете (фр.).

– Зачем насмешка, – проговорил он, не глядя на своего товарища, – зачем глумление? Да, ты прав: любовь – великое слово, великое чувство... Но о какой любви говоришь ты?

Шубин тоже приподнялся.

– О какой любви? О какой угодно, лишь бы она была налицо. Признаюсь тебе, по-моему, вовсе нет различных родов любви. Коли ты полюбил...

– От всей души, – подхватил Берсенеv.

– Ну да, это само собой разумеется, душа не яблоко: ее не разделишь. Коли ты полюбил, ты и прав. А я не думал глумиться. У меня на сердце теперь такая нежность, так оно смягчено... Я хотел только объяснить, почему природа, по-твоему, так на нас действует. Потому, что она будит в нас потребность любви и не в силах удовлетворить ее. Она нас тихо гонит в другие, живые объятия, а мы ее не понимаем и чего-то ждем от нее самой. Ах, Андрей, Андрей, прекрасно это солнце, это небо, все, все вокруг нас прекрасно, а ты грустишь; но если бы в это мгновение ты держал в своей руке руку любимой женщины, если б эта рука и вся эта женщина были твои, если бы ты даже глядел *ее* глазами, чувствовал не своим, одиноким, а *ее* чувством, – не грусть, Андрей, не тревогу возбуждала бы в тебе природа, и не стал бы ты замечать ее красоты; она бы сама радовалась и пела, она бы вторила твоему гимну, потому что ты в нее, в немую, вложил бы тогда язык!

Шубин вскочил на ноги и прошелся раза два взад и вперед, а Берсенеv наклонил голову, и лицо его покрылось слабой краской.

– Я не совсем согласен с тобою, – начал он, – не всегда природа намекает нам на... любовь. (Он не сразу произнес это слово.) Она также грозит нам; она напоминает о страшных... да, о недоступных тайнах. Не она ли должна поглотить нас, не беспрестанно ли она поглощает нас? В ней и жизнь и смерть; и смерть в ней так же громко говорит, как и жизнь.

– И в любви жизнь и смерть, – перебил Шубин.

– А потом, – продолжал Берсенеv, – когда я, например, стою весной в лесу, в зеленой чаще, когда мне чудятся романтические звуки Оберонова рога (Берсенеvu стало немножко совестно, когда он выговорил эти слова), – разве и это...

– Жажда любви, жажда счастья, больше ничего! – подхватил Шубин. – Знаю и я эти звуки, знаю и я то умиление и ожидание, которые находят на душу под сенью леса, в его недрах, или вечером, в открытых полях, когда заходит солнце и река дымится за кустами. Но и от леса, и от реки, и от земли, и от неба, от всякого облачка, от всякой травки я жду, я хочу счастья, я во всем чую его приближение, слышу его призыв! «Мой бог – Бог светлый и веселый!» Я было так начал одно стихотворение; сознайся: славный первый стих, да второго никак подобрать не мог. Счастья! Счастья! пока жизнь не прошла, пока все наши члены в нашей власти, пока мы идем не под гору, а в гору! Черт возьми! – продолжал Шубин с внезапным порывом, – мы молоды, не уроды, не глупы: мы завоюем себе счастье!

Он встряхнул кудрями и самоуверенно, почти с вызовом, глянул вверх, на небо. Берсенеv поднял на него глаза.

– Будто нет ничего выше счастья? – проговорил он тихо.

– А например? – спросил Шубин и остановился.

– Да вот, например, мы с тобой, как ты говоришь, молоды, мы хорошие люди, положим; каждый из нас желает для себя счастья... Но такое ли это слово «счастье», которое соединило, воспламенило бы нас обоих, заставило бы нас подать друг другу руки? Не эгоистическое ли, я хочу сказать, не разъединяющее ли это слово?

– А ты знаешь такие слова, которые соединяют?

– Да; и их не мало; и ты их знаешь.

– Ну-ка? Какие это слова?

– Да хоть бы искусство, – так как ты художник, – родина, наука, свобода, справедливость.

– А любовь? – спросил Шубин.

– И любовь соединяющее слово; но не та любовь, которой ты теперь жаждешь: не любовь-наслаждение, любовь-жертва.

Шубин нахмурился.

– Это хорошо для немцев; а я хочу любить для себя; я хочу быть номером первым.

– Номером первым, – повторил Берсенева. – А мне кажется, поставить себя номером вторым – все назначение нашей жизни.

– Если все так будут поступать, как ты советуешь, – промолвил с жалобною гримасой Шубин, – никто на земле не будет есть ананасов: все другим их предоставлять будут.

– Значит, ананасы не нужны; а впрочем, не бойся: всегда найдутся любители даже хлеб от чуждого рта отнимать.

Оба приятеля помолчали.

– Я на днях опять встретил Инсарова, – начал Берсенева, – я пригласил его к себе; я непременно хочу познакомить его с тобой... и с Стаховыми.

– Какой это Инсаров? Ах да, этот серб или болгар, о котором ты мне говорил? Патриот этот? Уж не он ли внушил тебе все эти философические мысли?

– Может быть.

– Необыкновенный он индивидуум, что ли?

– Да.

– Умный? Даровитый?

– Умный?.. Да. Даровитый? Не знаю, не думаю.

– Нет? Что же в нем замечательного?

– Вот увидишь. А теперь, я думаю, нам пора идти. Анна Васильевна нас, чай, дожидается. Который-то час?

– Третий. Пойдем. Как душно! Этот разговор во мне всю кровь зажег. И у тебя была минута... я недаром артист: я на все заметлив. Признайся, занимает тебя женщина?..

Шубин хотел заглянуть в лицо Берсенева, но он отвернулся и вышел из-под липы. Шубин отправился вслед за ним, развалисто-грациозно переступая своими маленькими ножками. Берсенева двигался неуклюже, высоко поднимал на ходу плечи, вытягивал шею; а все-таки он казался более порядочным человеком, чем Шубин, более джентльменом, сказали бы мы, если б это слово не было у нас так опошлено.

2

Молодые люди спустились к Москве-реке и пошли вдоль ее берега. От воды веяло свежестью, и тихий плеск небольших волн ласкал слух.

– Я бы опять выкупался, – заговорил Шубин, – да боюсь опоздать. Посмотри на реку: она словно нас манит. Древние греки в ней признали бы нимфу. Но мы не греки, о нимфа! мы толстокожие скифы.

– У нас есть русалки, – заметил Берсенева.

– Поди ты с своими русалками! На что мне, ваятелю, эти исчадия запуганной, холодной фантазии, эти образы, рожденные в духоте избы, во мраке зимних ночей? Мне нужно света, простора... Когда же, Боже мой, поеду я в Италию? Когда...

– То есть, ты хочешь сказать, в Малороссию?

– Стыдно тебе, Андрей Петрович, упрекать меня в необдуманной глупости, в которой я и без того горько раскаиваюсь. Ну да, я поступил, как дурак: добрейшая Анна Васильевна дала мне денег на поездку в Италию, а я отправился к хохлам, есть галушки, и...

– Не договаривай, пожалуйста, – перебил Берсенева.

– И все-таки я скажу, что эти деньги не были истрачены даром. Я увидел там такие типы, особенно женские... Конечно, я знаю: вне Италии нет спасения!

– Ты поедешь в Италию, – проговорил Берсенева, не оборачиваясь к нему, – и ничего не сделаешь. Будешь все только крыльями размахивать и не полетишь. Знаем мы вас!

– Ставассер полетел же... И не он один. А не полечу – значит, я пингвин морской, без крыльев. Мне душно здесь, в Италию хочу, – продолжал Шубин, – там солнце, там красота...

Молодая девушка, в широкой соломенной шляпе, с розовым зонтиком на плече, показала в это мгновение на тропинке, по которой шли приятели.

– Но что я вижу? И здесь к нам навстречу идет красота! Привет смиренного художника очаровательной Зое! – крикнул вдруг Шубин, театрально размахнув шляпой.

Молодая девушка, к которой относилось это восклицание, остановилась, погрозила ему пальцем и, допустив до себя обоих приятелей, проговорила звонким голосом и чуть-чуть картавя:

– Что же вы это, господа, обедать не идете? Стол накрыт.

– Что я слышу? – заговорил, всплеснув руками, Шубин. – Неужели вы, восхитительная Зоя, в такую жару решились идти нас отыскивать? Так ли я должен понять смысл вашей речи? Скажите, неужели? Или нет, лучше не произносите этого слова: раскаяние убьет меня мгновенно.

– Ах, перестаньте, Павел Яковлевич, – возразила не без досады девушка, – отчего вы никогда не говорите со мной серьезно? Я рассержусь, – прибавила она с кокетливой ужимкой и надула губки.

– Вы не рассердитесь на меня, идеальная Зоя Никитишна; вы не захотите повергнуть меня в мрачную бездну исступленного отчаяния. А серьезно я говорить не умею, потому что я не серьезный человек.

Девушка пожала плечом и обратилась к Берсенева:

– Вот он всегда так: обходится со мной, как с ребенком; а мне уж восемнадцать лет минуло. Я уже большая.

– О Боже! – простонал Шубин и закатил глаза под лоб, а Берсенева усмехнулся молча.

Девушка топнула ножкой.

– Павел Яковлевич! Я рассержусь! Hélène пошла было со мною, – продолжала она, – да осталась в саду. Ее жара испугала, но я не боюсь жары. Пойдемте.

Она отправилась вперед по тропинке, слегка раскачивая свой тонкий стан при каждом шаге и откидывая хорошенькою ручкой, одетой в черную митенку, мягкие длинные локоны от лица.

Приятель пошел за нею (Шубин то безмолвно прижимал руки к сердцу, то поднимал их выше головы) и несколько мгновений спустя очутился перед одною из многочисленных дач, окружающих Кунцово. Небольшой деревянный домик с мезонином, выкрашенный розовою краской, стоял посреди сада и как-то наивно выглядывал из-за зелени деревьев. Зоя первая отворила калитку, вбежала в сад и закричала: «Привела скитальцев!» Молодая девушка с бледным и выразительным лицом поднялась со скамейки близ дорожки, а на пороге дома показалась дама в лиловом шелковом платье и, подняв вышитый батистовый платок над головою для защиты от солнца, улыбнулась томно и вяло.

3

Анна Васильевна Стахова, урожденная Шубина, семи лет осталась круглой сиротою и наследницей довольно значительного имения. У нее были родственники очень богатые и очень бедные: бедные по отцу, богатые по матери: сенатор Волгин, князья Чикурасовы. Князь Ардалион Чикурасов, назначенный к ней опекуном, поместил ее в лучший московский пансион, а по выходе ее из пансиона взял к себе в дом. Он жил открыто и давал зимой балы. Будущий муж Анны Васильевны, Николай Артемьевич Стахов, завоевал ее на одном из этих балов, где она была в «преlestном розовом платье с куафюрой из маленьких роз». Она берегла эту куафюру... Николай Артемьевич Стахов, сын отставного капитана, раненного в двенадцатом году и получившего доходное место в Петербурге, шестнадцати лет поступил в юнкерскую школу и вышел в гвардию. Он был красив собою, хорошо сложен и считался едва ли не лучшим кавалером на вечеринках средней руки, которые посещал преимущественно: в большой свет ему не было дороги. Смолodu его занимали две мечты: попасть в флигель-адъютанты и выгодно жениться: с первою мечтою он скоро расстался, но тем крепче держался за вторую. Вследствие этого он каждую зиму ездил в Москву. Николай Артемьевич порядочно говорил по-французски и слыл философом, потому что не кутил. Будучи только прапорщиком, он уже любил настойчиво поспорить, например, о том, можно ли человеку в течение всей своей жизни объездить весь земной шар, можно ли ему знать, что происходит на дне морском, – и всегда держался того мнения, что нельзя.

Николаю Артемьевичу минуло двадцать пять лет, когда он «подцепил» Анну Васильевну; он вышел в отставку и поехал в деревню хозяйничать. Деревенское житье ему скоро надоело, имение же было оброчное; он поселился в Москве, в доме жены. В молодости он ни в какие игры не играл, а тут пристрастился к лото, а когда запретили лото, к ералашу. Дома он скучал; сошелся со вдовой немецкого происхождения и проводил у ней почти все время. На лето пятьдесят третьего года он не переехал в Кунцово: он остался в Москве, будто бы для того, чтобы пользоваться минеральными водами; в сущности, ему не хотелось расстаться с своею вдовой. Впрочем, он и с ней разговаривал мало, а также больше спорил о том, можно ли предвидеть погоду и т. д. Раз кто-то назвал его *frondeur*; это название очень ему понравилось. «Да, – думал он, самодовольно опуская углы губ и покачиваясь, – меня удовлетворить не легко; меня не надуешь». Фрондерство Николая Артемьевича состояло в том, что он услышит, например, слово «нервы» и скажет: «А что такое нервы?» – или кто-нибудь упомянет при нем об успехах астрономии, а он скажет: «А вы верите в астрономию?» Когда же он хотел окончательно сразить противника, он говорил: «Все это одни фразы». Должно сознаться, что многим лицам такого рода возражения казались (и до сих пор кажутся) неопровержимыми; но Николай Артемьевич никак не подозревал того, что Августина Христиановна в письмах к своей кузине, Феодолинде Петерзилиус, называла его: *Mein Pinselchen*.²

Жена Николая Артемьевича, Анна Васильевна, была маленькая и худенькая женщина, с тонкими чертами лица, склонная к волнению и грусти. В пансионе она занималась музыкой и читала романы, потом все это бросила: стала рядиться, и это оставила; занялась было воспитанием дочери, и тут ослабела и передала ее на руки к гувернантке; кончилось тем, что она только и делала что грустила и тихо волновалась. Рождение Елены Николаевны расстроило ее здоровье, и она уже не могла более иметь детей; Николай Артемьевич намекал на это обстоятельство, оправдывая свое знакомство с Августиной Христиановной. Неверность мужа очень огорчала Анну Васильевну; особенно больно ей было то, что он однажды обманом подарил своей немке пару серых лошадей с ее, Анны Васильевны, собственного

² Мой дурачок (нем.).

завода. В глаза она его никогда не упрекала, но украдкой жаловалась на него поочередно всем в доме, даже дочери. Анна Васильевна не любила выезжать; ей было приятно, когда у ней сидел гость и рассказывал что-нибудь; в одиночестве она тотчас занемогала. Сердце у ней было очень любящее и мягкое: жизнь ее скоро перемолола.

Павел Яковлевич Шубин доводился ей троюродным племянником. Отец его служил в Москве. Братья его поступили в кадетские корпуса; он был самый младший, любимец матери, нежного телосложения: он остался дома. Его назначали в университет и с трудом поддерживали в гимназии. С ранних лет начал он оказывать наклонность к ваянию; тяжеловесный сенатор Волгин увидал однажды одну его статуэтку у его тетки (ему было тогда лет шестнадцать) и объявил, что намерен покровительствовать юному таланту. Внезапная смерть отца Шубина чуть было не изменила всей будущности молодого человека. Сенатор, покровитель талантов, подарил ему гипсовый бюст Гомера – и только; но Анна Васильевна помогла ему деньгами, и он, с грехом пополам, девятнадцати лет поступил в университет, на медицинский факультет. Павел не чувствовал никакого расположения к медицине, но, по существовавшему в то время штату студентов, ни в какой другой факультет поступить было невозможно; притом он надеялся поучиться анатомии. Но он не выучился анатомии; на второй курс он не перешел и, не дождавшись экзамена, вышел из университета, с тем чтобы посвятить исключительно своему призванию. Он трудился усердно, но урывками; скитался по окрестностям Москвы, лепил и рисовал портреты крестьянских девок, сходил с разными лицами, молодыми и старыми, высокого и низкого полета, италиянскими формовщиками и русскими художниками, слышать не хотел об академии и не признавал ни одного профессора. Талантом он обладал положительным: его начали знать по Москве. Мать его, парижанка родом, хорошей фамилии, добрая и умная женщина, выучила его по-французски, хлопотала и заботилась о нем денно и нощно, гордилась им и, умирая еще в молодых летах от чахотки, упростила Анну Васильевну взять его к себе на руки. Ему тогда уже пошел двадцать первый год. Анна Васильевна исполнила ее последнее желание: он занимал небольшую комнатку во флигеле дачи.

4

– Пойдемте же кушать, пойдемте, – проговорила жалостливым голосом хозяйка, и все отправились в столовую. – Сядьте подле меня, Зое, – промолвила Анна Васильевна, – а ты, Hélène, займи гостя, а ты, Paul, пожалуйста, не шали и не дразни Зое. У меня голова болит сегодня.

Шубин опять возвел глаза к небу; Зое ответила ему полуулыбкой. Эта Зое, или, говоря точнее, Зоя Никитишна Мюллер, была миленькая, немного косенькая русская немочка с раздвоенным на конце носиком и красными крошечными губками, белокурая, пухленькая. Она очень недурно пела русские романсы, чистенько разыгрывала на фортепьяно разные то веселенькие, то чувствительные штучки; одевалась со вкусом, но как-то по-детски и уже слишком опрятно. Анна Васильевна взяла ее в компаньонки к своей дочери и почти постоянно держала ее при себе. Елена на это не жаловалась: она решительно не знала, о чем ей говорить с Зоей, когда ей случалось остаться с ней наедине.

Обед продолжался довольно долго; Берсенева разговаривала с Еленой об университетской жизни, о своих намерениях и надеждах; Шубин прислушивался и молчал, ел с преувеличенною жадностью, изредка бросая комически унылые взоры на Зою, которая отвечала ему все тою же флегматической улыбкой. После обеда Елена с Берсенывым и Шубиным отправилась в сад; Зоя посмотрела им вслед и, слегка пожав плечиком, села за фортепьяно. Анна Васильевна проговорила было: «Отчего же вы не идете тоже гулять? – но, не дождавшись ответа, прибавила: – Сыграйте мне что-нибудь такое грустное...»

– «La dernière pensée» de Weber?³ – спросила Зоя.

– Ах да, Вебера, – промолвила Анна Васильевна, опустила в кресла, и слеза навернулась на ее ресницу.

Между тем Елена повела обоих приятелей в беседку из акаций, с деревянным столиком посередине и скамейками вокруг. Шубин оглянулся, подпрыгнул несколько раз и, промолвив шепотом: «Подождите!», сбегал к себе в комнату, принес кусок глины и начал лепить фигуру Зои, покачивая головой, бормоча и посмеиваясь.

– Опять старые шутки, – произнесла Елена, взглянув на его работу, и обратилась к Берсеневу, с которым продолжала разговор, начатый за обедом.

– Старые шутки, – повторил Шубин. – Предмет-то больно неистощимый! Сегодня особенно она меня из терпения выводит.

– Это почему? – спросила Елена. – Подумаешь, вы говорите о какой-нибудь злой, неприятной старухе. Хорошенькая молоденькая девочка...

– Конечно, – перебил ее Шубин, – она хорошенькая, очень хорошенькая; я уверен, что всякий прохожий, взглянув на нее, непременно должен подумать: вот бы с кем отлично... польку протанцевать; я также уверен, что она это знает и что это ей приятно... К чему же эти стыдливые ужимки, эта скромность? Ну, да вам известно, что я хочу сказать, – прибавил он сквозь зубы. – Впрочем, вы теперь другим заняты.

И, сломив фигуру Зои, Шубин принялся торопливо и словно с досадой лепить и мять глину.

– Итак, вы желали бы быть профессором? – спросила Елена Берсенева.

– Да, – возразил тот, втискивая между колен свои красные руки. – Это моя любимая мечта. Конечно, я очень хорошо знаю все, чего мне недостает для того, чтобы быть достойным такого высокого... Я хочу сказать, что я слишком мало подготовлен, но я надеюсь получить позволение съездить за границу; пробуду там три-четыре года, если нужно, и тогда...

³ «Последнюю думу» Вебера? (фр.)

Он остановился, потупился, потом быстро вскинул глаза и, неловко улыбаясь, поправил волосы. Когда Берсенева говорил с женщиной, речь его становилась еще медлительнее и он еще более пришепетывал.

– Вы хотите быть профессором истории? – спросила Елена.

– Да, или философии, – прибавил он, понизив голос, – если это будет возможно.

– Он уже теперь силен, как черт, в философии, – заметил Шубин, проводя глубокие черты ногтем по глине, – на что ему за границу ездить?

– И вы будете вполне довольны вашим положением? – спросила Елена, подпершись локтем и глядя ему прямо в лицо.

– Вполне, Елена Николаевна, вполне. Какое же может быть лучше призвание? Помилуйте, пойти по следам Тимофея Николаевича... Одна мысль о подобной деятельности наполняет меня радостью и смущением, да... смущением, которого... которое происходит от сознания моих малых сил. Покойный батюшка благословил меня на это дело... Я никогда не забуду его последних слов.

– Ваш батюшка скончался нынешнею зимой?

– Да, Елена Николаевна, в феврале.

– Говорят, – продолжала Елена, – он оставил замечательное сочинение в рукописи; правда ли это?

– Да, оставил. Это был чудесный человек. Вы бы полюбили его, Елена Николаевна.

– Я в этом уверена. А какое содержание этого сочинения?

– Содержание этого сочинения, Елена Николаевна, передать вам в немногих словах несколько трудно. Мой отец был человек очень ученый, шеллингианец, он употреблял выражения не всегда ясные...

– Андрей Петрович, – перебила его Елена, – извините мое невежество, что такое значит: шеллингианец?

Берсенева слегка улыбнулся.

– Шеллингианец это значит последователь Шеллинга, немецкого философа, а в чем состояло учение Шеллинга...

– Андрей Петрович! – воскликнул вдруг Шубин, – ради самого Бога! Уж не хочешь ли ты прочесть Елене Николаевне лекцию о Шеллинге? Пощади!

– Вовсе не лекцию, – пробормотал Берсенева и покраснел, – я хотел...

– А почему ж бы и не лекцию, – подхватила Елена. – Нам с вами лекции очень нужны, Павел Яковлевич.

Шубин уставился на нее и вдруг захохотал.

– Чему же вы смеетесь? – спросила она холодно и почти резко.

Шубин умолк.

– Ну полноте, не сердитесь, – промолвил он спустя немного. – Я виноват. Но в самом деле, что за охота, помилуйте, теперь, в такую погоду, под этими деревьями, толковать о философии? Давайте лучше говорить о соловьях, о розах, о молодых глазах и улыбках.

– Да; и о французских романах, о женских тряпках, – продолжала Елена.

– Пожалуй, и о тряпках, – возразил Шубин, – если они красивы.

– Пожалуй. Но если нам не хочется говорить о тряпках? Вы величаете себя свободным художником, зачем же вы посягаете на свободу других? И позвольте вас спросить, при таком образе мыслей зачем вы нападаете на Зою? С ней особенно удобно говорить о тряпках и о розах.

Шубин вдруг вспыхнул и приподнялся со скамейки.

– А, вот как? – начал он нервным голосом. – Я понимаю ваш намек; вы меня отсылаете к ней, Елена Николаевна. Другими словами, я здесь лишний?

– Я не думала отсылать вас отсюда.

– Вы хотите сказать, – продолжал запальчиво Шубин, – что я не стою другого общества, что я ей под пару, что я так же пуст, и вздорен, и мелок, как эта сладковатая немочка? Не так ли-с?

Елена нахмурила брови.

– Вы не всегда так о ней отзывались, Павел Яковлевич, – заметила она.

– А! Упрек! Упрек теперь! – воскликнул Шубин. – Ну да, я не скрываю, была минута, именно одна минута, когда эти свежие, пошлые щечки... Но если б я захотел отплатить вам упреком и напомнить вам... Прощайте-с, – прибавил он вдруг, – я готов завратиться.

И, ударив рукой по слепленной в виде головы глине, он выбежал из беседки и ушел к себе в комнату.

– Дитя, – проговорила Елена, поглядев ему вслед.

– Художник, – промолвил с тихой улыбкой Берсенева. – Все художники таковы. Надобно им прощать их капризы. Это их право.

– Да, – возразила Елена, – но Павел до сих пор еще ничем не упрочил за собой этого права. Что он сделал до сих пор? Дайте мне руку и пойдемте по аллее. Он помешал нам. Мы говорили о сочинении вашего батюшки.

Берсенева взял руку Елены и пошел за ней по саду, но начатый разговор, слишком рано прерванный, не возобновился; Берсенева снова принялся излагать свои воззрения на профессорское звание, на будущую свою деятельность. Он тихо двигался рядом с Еленой, неловко выступал, неловко поддерживал ее руку, изредка толкал ее плечом и ни разу не взглянул на нее; но речь его текла легко, если не совсем свободно, он выражался просто и верно, и в глазах его, медленно блуждавших по стволам деревьев, по песку дорожки, по траве, светилося тихое умиление благородных чувств, а в успокоенном голосе слышалась радость человека, который сознает, что ему удастся высказываться перед другим, дорогим ему человеком. Елена слушала его внимательно и, обернувшись к нему вполтину, не отводила взора от его слегка побледневшего лица, от глаз его, дружелюбных и кротких, хотя избегавших встречи с ее глазами. Душа ее раскрывалась, и что-то нежное, справедливое, хорошее не то вливалось в ее сердце, не то вырастало в нем.

5

Шубин не выходил из своей комнаты до самой ночи. Уже совсем стемнело, неполный месяц стоял высоко на небе, Млечный Путь забелел и звезды запестрели, когда Берсенева, простившись с Анной Васильевной, Еленой и Зоей, подошел к двери своего приятеля. Он нашел ее запертою и постучался.

– Кто там? – раздался голос Шубина.

– Я, – отвечал Берсенева.

– Чего тебе?

– Впусти меня, Павел, полно капризничать; как тебе не стыдно?

– Я не капризничаю, я сплю и вижу во сне Зою.

– Перестань, пожалуйста. Ты не ребенок. Впусти меня. Мне нужно с тобою поговорить.

– Ты не наговорился еще с Еленой?

– Полно же, полно;пусти меня!

Шубин отвечал притворным храпением. Берсенева пожал плечами и отправился домой.

Ночь была тепла и как-то особенно безмолвна, точно все кругом прислушивалось и караулило; и Берсенева, охваченный неподвижною мглою, невольно останавливался и тоже прислушивался и караулил. Легкий шорох, подобный шелесту женского платья, поднимался по временам в верхушках близких деревьев и возбуждал в Берсеневе ощущение сладкое и жуткое, ощущение полустраха. Мурашки пробегали по его щекам, глаза холодели от мгновенной слезы: ему бы хотелось выступить совсем неслышно, прятаться, красться. Резкий ветерок набежал на него сбоку: он чуть-чуть вздрогнул и замер на месте; сонный жук свалился с ветки и стукнулся о дорогу: Берсенева тихо воскликнул: «А!» – и опять остановился. Но он начал думать о Елене, и все эти мимолетные ощущения исчезли разом: оставалось одно живительное впечатление ночной свежести и ночной прогулки; всю душу его занял образ молодой девушки. Берсенева шел, потупя голову, и припоминал ее слова, ее вопросы. Топот быстрых шагов почудился ему сзади. Он прикинул ухом: кто-то бежал, кто-то догонял его; слышалось прерывистое дыхание, и вдруг перед ним, из черного круга тени, падавшей от большого дерева, без шапки на растрепанных волосах, весь бледный при свете луны, вынырнул Шубин.

– Я рад, что ты пошел по этой дороге, – с трудом проговорил он, – я бы всю ночь не заснул, если б я не догнал тебя. Дай мне руку. Ведь ты домой идешь?

– Домой.

– Я тебя провожу.

– Да как же ты пойдешь без шапки?

– Ничего. Я и галстук снял. Теперь тепло.

Приятель сделал несколько шагов.

– Не правда ли, я был очень глуп сегодня? – спросил внезапно Шубин.

– Откровенно говоря, да. Я тебя понять не мог. Я тебя таким никогда не видал. И отчего ты рассердился, помилуй! Из-за каких пустяков?

– Гм, – промычал Шубин. – Вот как ты выражаешься, а мне не до пустяков. Видишь ли, – прибавил он, – я должен тебе заметить, что я... что... Думай обо мне, что хочешь... я... ну да! Я влюблен в Елену.

– Ты влюблен в Елену! – повторил Берсенева и остановился.

– Да, – с принужденною небрежностью продолжал Шубин. – Это тебя удивляет? Скажу тебе более. До нынешнего вечера я мог надеяться, что и она со временем меня полюбит. Но сегодня я убедился, что мне надеяться нечего. Она полюбила другого.

– Другого? Кого же?

– Кого? Тебя! – воскликнул Шубин и ударил Берсенева по плечу.

– Меня!

– Тебя, – повторил Шубин.

Берсенева отступил шаг назад и остался неподвижен. Шубин зорко посмотрел на него.

– И это тебя удивляет? Ты скромный юноша. Но она тебя любит. На этот счет ты можешь быть спокоен.

– Что за вздор ты мелешь! – произнес наконец с досадой Берсенева.

– Нет, не вздор. А впрочем, что же мы стоим? Пойдем вперед. На ходу легче. Я ее давно знаю, и хорошо ее знаю. Я не могу ошибиться. Ты пришелся ей по сердцу. Было время, я ей нравился: но, во-первых, я для нее слишком легкомысленный молодой человек, а ты существо серьезное, ты нравственно и физически опрятная личность, ты... постой, я не кончил, ты добросовестно-умеренный энтузиаст, истый представитель тех жрецов науки, которыми, – нет, не которыми, – *коими* столь справедливо гордится класс среднего русского дворянства! А во-вторых, Елена на днях застала меня целующим руки у Зои!

– У Зои?

– Да, у Зои. Что прикажешь делать? У нее плечи так хороши.

– Плечи?

– Ну да, плечи, руки, не все ли равно? Елена застала меня посреди этих свободных занятий после обеда, а перед обедом я в ее присутствии бранил Зою. Елена, к сожалению, не понимает всей естественности подобных противоречий. Тут *ты* подвернулся: ты веришь... во что бишь ты веришь?... ты краснеешь, смущаешься, толкуешь о Шиллере, о Шеллинге (она же все отыскивает замечательных людей), вот ты и победил, а я, несчастный, стараюсь шутить... и... между тем...

Шубин вдруг заплакал, отошел в сторону, присел на землю и схватил себя за волосы.

Берсенева приблизился к нему.

– Павел, – начал он, – что это за детство? Помилуй! Что с тобою сегодня? Бог знает, какой вздор взбрел тебе в голову, и ты плачешь. Мне, право, кажется, что ты притворяешься.

Шубин поднял голову. Слезы блистали на его щеках в лучах луны, но лицо его улыбалось.

– Андрей Петрович, – заговорил он, – ты можешь думать обо мне, что тебе угодно. Я даже готов согласиться, что у меня теперь истерика, но я, ей-богу, влюблен в Елену, и Елена тебя любит. Впрочем, я обещал проводить тебя до дому и сдержу свое обещание.

Он встал.

– Какая ночь! Серебристая, темная, молодая! Как хорошо теперь тем, кого любят! Как им весело не спать! Ты будешь спать, Андрей Петрович?

Берсенева ничего не отвечал и ускорил шаги.

– Куда ты торопишься? – продолжал Шубин. – Поверь моим словам, такой ночи в твоей жизни не повторится, а дома ждет тебя Шеллинг. Правда, он сослужил тебе сегодня службу; но ты все-таки не спеши. Пой, если умеешь, пой еще громче; если не умеешь – сними шляпу, закинь голову и улыбайся звездам. Они все на тебя смотрят, на одного тебя: звезды только и делают, что смотрят на влюбленных людей, – оттого они так прелестны. Ведь ты влюблен, Андрей Петрович?... Ты не отвечаешь мне... Отчего ты не отвечаешь? – заговорил опять Шубин. – О, если ты чувствуешь себя счастливым, молчи, молчи! Я болтаю, потому что я горемыка, я нелюбимый, я фокусник, артист, фигляр; но какие безмолвные восторги пил бы я в этих ночных струях, под этими звездами, под этими алмазами, если б я знал, что меня любят!.. Берсенева, ты счастлив?

Берсенева по-прежнему молчал и быстро шел по ровной дороге. Впереди, между деревьями, замелькали огни деревеньки, в которой он жил; она вся состояла из десятка небольших дач. При самом ее начале, направо от дороги, под двумя развесистыми березами, нахо-

дилась мелочная лавочка; окна в ней уже были все заперты, но широкая полоса света падала веером из растворенной двери на притоптанную траву и била вверх по деревьям, резко озаря беловатую изнанку сплошных листьев. Девушка, с виду горничная, стояла в лавке спиной к порогу и торговалась с хозяином: из-под красного платка, который она накинула себе на голову и придерживала обнаженной рукой у подбородка, едва виднелась ее круглая щечка и тонкая шейка. Молодые люди вступили в полосу света. Шубин глянул во внутренность лавки, остановился и кликнул: «Аннушка!» Девушка живо обернулась. Показалось миловидное, немножко широкое, но свежее лицо с веселыми карими глазами и черными бровями. «Аннушка!» – повторил Шубин. Девушка всмотрелась в него, испугалась, застыдилась и, не кончив покупки, спустилась с крылечка, проворно скользнула мимо и, чуть-чуть озираясь, пошла через дорогу, налево. Лавочник, человек пухлый и равнодушный ко всему на свете, как все загородные мелочные торговцы, крикнул и зевнул ей вслед, а Шубин обратился к Берсеневу со словами: «Это... это, вот видишь... тут есть у меня знакомое семейство... так это у них... ты не подумай...» – и, не докончив речи, побежал за уходившею девушкой.

– Утри по крайней мере свои слезы, – крикнул ему Берсенев и не мог удержаться от смеха. Но когда он вернулся домой, на лице его не было веселого выражения; он не смеялся более. Он ни на одно мгновение не поверил тому, что сказал ему Шубин, но слово, им произнесенное, запало глубоко ему в душу. «Павел меня дурачил, – думал он, – но она когда-нибудь полюбит... Кого полюбит она?»

У Берсенева в комнате стояло фортепьяно, небольшое и не новое, но с мягким и приятным, хоть и не совсем чистым тоном. Берсенев присел к нему и начал брать аккорды. Как все русские дворяне, он в молодости учился музыке, и, как почти все русские дворяне, играл очень плохо; но он страстно любил музыку. Собственно говоря, он любил в ней не искусство, не формы, в которых она выражается (симфонии и сонаты, даже оперы наводили на него уныние), а ее стихию: любил те смутные и сладкие, беспредметные и всеобъемлющие ощущения, которые возбуждаются в душе сочетанием и переливами звуков. Более часа не отходил он от фортепьяно, много раз повторяя одни и те же аккорды, неловко отыскивая новые, останавливаясь и замирая на уменьшенных септимах. Сердце в нем ныло, и глаза не однажды наполнялись слезами. Он не стыдился их: он проливал их в темноте. «Прав Павел, – думал он, – я предчувствую: этот вечер не повторится». Наконец он встал, зажег свечку, накинул халат, достал с полки второй том *Истории Гогенштауфенов, Раумера*– и, вздохнув раза два, прилежно занялся чтением.

6

Между тем Елена вернулась в свою комнату, села перед раскрытым окном и оперлась головой на руки. Проводить каждый вечер около четверти часа у окна своей комнаты вошло у ней в привычку. Она беседовала сама с собою в это время, отдавала себе отчет в протекшем дне. Ей недавно минул двадцатый год. Росту она была высокого, лицо имело бледное и смуглое, большие серые глаза под круглыми бровями, окруженные крошечными веснушками, лоб и нос совершенно прямые, сжатый рот и довольно острый подбородок. Ее темно-русая коса спускалась низко на тонкую шею. Во всем ее существе, в выражении лица, внимательном и немного пугливом, в ясном, но изменчивом взоре, в улыбке, как будто напряженной, в голосе, тихом и неровном, было что-то нервическое, электрическое, что-то порывистое и торопливое, словом что-то такое, что не могло всем нравиться, что даже отталкивало иных. Руки у ней были узкие, розовые, с длинными пальцами, ноги тоже узкие; она ходила быстро, почти стремительно, немного наклоняясь вперед. Она росла очень странно; сперва обожала отца, потом страстно привязалась к матери и охладела к обоим, особенно к отцу. В последнее время она обходилась с матерью, как с больною бабушкой; а отец, который гордился ею, пока она слыла за необыкновенного ребенка, стал ее бояться, когда она выросла, и говорил о ней, что она какая-то восторженная республиканка, Бог знает в кого! Слабость возмущала ее, глупость сердила, ложь она не прощала «во веки веков»; требования ее ни перед чем не отступали, самые молитвы не раз мешались с укором. Стоило человеку потерять ее уважение, – а суд произносила она скоро, часто слишком скоро, – и уж он переставал существовать для нее. Все впечатления резко ложились в ее душу; не легко давалась ей жизнь.

Гувернантка, которой Анна Васильевна поручила закончить воспитание своей дочери, – воспитание, заметим в скобках, даже не начатое скучавшей барыней, – была из русских, дочь разорившегося взяточника, институтка, очень чувствительное, доброе и лживое существо; она то и дело влюблялась и кончила тем, что в пятидесятом году (когда Елене минуло семнадцать лет) вышла замуж за какого-то офицера, который тут же ее и бросил. Гувернантка эта очень любила литературу и сама пописывала стишки; она приохотила Елену к чтению, но чтение одно ее не удовлетворяло: она с детства жаждала деятельности, деятельного добра; нищие, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили; она видела их во сне, расспрашивала об них всех своих знакомых; милостыню она подавала заботливо, с невольною важностью, почти с волнением. Все притесненные животные, худые дворовые собаки, осужденные на смерть котята, выпавшие из гнезда воробьи, даже насекомые и гады находили в Елене покровительство и защиту: она сама кормила их, не гнушалась ими. Мать не мешала ей; зато отец очень негодовал на свою дочь за ее, как он выражался, пошлое нежничанье и уверял, что от собак да кошек в доме ступить негде. «Леночка, – кричал он ей, бывало, – иди скорей, паук муху сосет, освобождай несчастную!» И Леночка, вся встревоженная, прибежала, освобождала муху, расклеивала ей лапки. «Ну, теперь дай себя покусать, коли ты такая добрая», – иронически замечал отец: но она его не слушала. На десятом году Елена познакомилась с нищею девочкой Катей и тайком ходила к ней на свидание в сад, приносила ей лакомства, дарила ей платки, гривеннички – игрушек Катя не брала. Она садилась с ней рядом на сухую землю, в глуши, за кустом крапивы; с чувством радостного смирения ела ее черствый хлеб, слушала ее рассказы. У Кати была тетка, злая старуха, которая ее часто била; Катя ее ненавидела и все говорила о том, как она убежит от тетки, как будет жить на *всей Божьей воле*; с тайным уважением и страхом внимала Елена этим неведомым, новым словам, пристально смотрела на Катю, и все в ней тогда – ее черные быстрые, почти звериные глаза, ее загорелые руки, глухой голосок, даже ее изорванное платье – казалось Елене чем-то особенным, чуть не священным. Елена возвращалась домой и долго

потом думала о нищих, о Божьей воле; думала о том, как она вырежет себе ореховую палку, и сумку наденет, и убежит с Катей, как она будет скитаться по дорогам в венке из васильков: она однажды видела Катю в таком венке. Входил ли в это время кто-нибудь из родных в комнату, она дичилась и глядела букой. Однажды она в дождь бегала на свиданье с Катей и запачкала себе платье: отец увидел ее и назвал замарашкой, крестьянкой. Она вспыхнула вся – и страшно и чудно стало ей на сердце. Катя часто напевала какую-то полудикую, солдатскую песенку; Елена выучилась у ней этой песенке... Анна Васильевна подслушала ее и пришла в негодование.

– Откуда ты набралась этой мерзости? – спросила она свою дочь.

Елена только посмотрела на мать и ни слова не сказала: она почувствовала, что скорее позволит растерзать себя на части, чем выдаст свою тайну, и опять стало ей и страшно и сладко на сердце. Впрочем, знакомство ее с Катей продолжалось недолго: бедная девочка занемогла горячкой и через несколько дней умерла.

Елена очень тосковала и долго по ночам заснуть не могла, когда узнала о смерти Кати. Последние слова нищей девочки беспрестанно звучали у ней в ушах, и ей самой казалось, что ее зовут...

А годы шли да шли; быстро и неслышно, как подснежные воды, протекала молодость Елены, в бездействии внешнем, во внутренней борьбе и тревоге. Подруг у ней не было: из всех девиц, посещавших дом Стаховых, она не сошлась ни с одной. Родительская власть никогда не тяготела над Еленой, а с шестнадцатилетнего возраста она стала почти совсем независима; она зажила собственною своею жизнью, но жизнью одинокою. Ее душа и разгоралась и погасала одиноко, она билась, как птица в клетке, а клетки не было: никто не стеснял ее, никто ее не удерживал, а она рвалась и томила. Она иногда сама себя не понимала, даже боялась самой себя. Все, что окружало ее, казалось ей не то бессмысленным, не то непонятным. «Как жить без любви? а любить некого!» – думала она, и страшно становилось ей от этих дум, от этих ощущений. Восемнадцати лет она чуть не умерла от злокачественной лихорадки; потрясенный до основания, весь ее организм, от природы здоровый и крепкий, долго не мог справиться: последние следы болезни исчезли наконец, но отец Елены Николаевны все еще не без озлобления толковал об ее нервах. Иногда ей приходило в голову, что она желает чего-то, чего никто не желает, о чем никто не мыслит в целой России. Потом она утихала, даже смеялась над собой, беспечно проводила день за днем, но внезапно что-то сильное, безымянное, с чем она совладеть не умела, так и закипало в ней, так и просилось вырваться наружу. Гроза проходила, опускались усталые, не взлетевшие крылья; но эти порывы не обходились ей даром. Как она ни старалась не выдать того, что в ней происходило, тоска взволнованной души сказывалась в самом ее наружном спокойствии, и родные ее часто были вправе пожимать плечами, удивляться и не понимать ее «странностей».

В день, с которого начался наш рассказ, Елена дольше обыкновенного не отходила от окна. Она много думала о Берсенева, о своем разговоре с ним. Он ей нравился; она верила теплоте его чувств, чистоте его намерений. Он никогда еще так не говорил с ней, как в тот вечер. Она вспомнила выражение его несмелых глаз, его улыбки – и сама улыбнулась и задумалась, но уже не о нем. Она принялась глядеть «в ночь» через открытое окно. Долго глядела она на темное, низко нависшее небо; потом она встала, движением головы откинула от лица волосы и, сама не зная зачем, протянула к нему, к этому небу, свои обнаженные, похолодевшие руки; потом она их уронила, стала на колени перед своею постелью, прижалась лицом к подушке и, несмотря на все свои усилия не поддаться нахлынувшему на нее чувству, заплакала какими-то странными, недоумевающими, но жгучими слезами.

7

На другой день, часу в двенадцатом, Берсенева отправился на обратном извозчике в Москву. Ему нужно было получить с почты деньги, купить кой-какие книги, да кстати ему хотелось повидаться с Инсаровым и переговорить с ним. Берсенева, во время последней беседы с Шубиным, пришла мысль пригласить Инсарова к себе на дачу. Но он не скоро отыскал его: с прежней своей квартиры он переехал на другую, до которой добраться было нелегко: она находилась на заднем дворе безобразного каменного дома, построенного на петербургский манер между Арбатом и Поварской. Тщетно Берсенева скитался от одного грязного крылечка к другому, тщетно взывал то к дворнику, то к «кому-нибудь». Дворники и в Петербурге стараются избегать взоров посетителей, а в Москве подавно: никто не откликнулся Берсенева; только любопытный портной, в одном жилете и с мотком серых ниток на плече, выставил молча из высокой форточки свое тусклое и небритое лицо с подбитым глазом да черная безрогая коза, взобравшаяся на навозную кучу, обернулась, проблеяла жалобно и проворнее прежнего зажевала свою жвачку. Какая-то женщина в старом салопе и стоптанных сапогах сжала ласу наконец над Берсенева и указала ему квартиру Инсарова. Берсенева застал его дома. Он нанимал комнату у самого того портного, который столь равнодушно взирает из форточки на затруднение забредшего человека, – большую, почти совсем пустую комнату с темно-зелеными стенами, тремя квадратными окнами, крошечною кроваткой в одном углу, кожаным диванчиком в другом и громадной клеткой, подвешенной под самый потолок; в этой клетке когда-то жил соловей. Инсаров пошел навстречу Берсенева, как только тот переступил порог дверей, но не воскликнул: «А, это вы!» или: «Ах, Боже мой! Какими судьбами?», не сказал даже «Здравствуйте», а просто стиснул ему руку и подвел его к единственному находившемуся в комнате стулу.

– Сядьте, – сказал он и сам присел на край стола. – У меня, вы видите, еще беспорядок, – прибавил Инсаров, указывая на грудy бумаг и книг на полу, – еще не обзавелся, как должно. Некогда еще было.

Инсаров говорил по-русски совершенно правильно, крепко и чисто произносил каждое слово; но его гортанный, впрочем приятный, голос звучал чем-то нерусским. Иностранное происхождение Инсарова (он был болгар родом) еще яснее сказывалось в его наружности: это был молодой человек лет двадцати пяти, худощавый и жилистый, с впалой грудью, с узловатыми руками; черты лица имел он резкие, нос с горбиной, иссиня-черные, прямые волосы, небольшой лоб, небольшие, пристально глядевшие, углубленные глаза, густые брови; когда он улыбался, прекрасные белые зубы показывались на миг из-под тонких жестких, слишком отчетливо очерченных губ. Одет он был в старенький, но опрятный сюртучок, застегнутый доверху.

– Зачем вы с прежней вашей квартиры съехали? – спросил его Берсенева.

– Эта дешевле; к университету ближе.

– Да ведь теперь вакации... И что вам за охота жить в городе летом! Наняли бы дачу, коли уж решились переезжать.

Инсаров ничего не отвечал на это замечание и предложил Берсенева трубку, примолвив: «Извините, папирос и сигар не имею».

Берсенева закурил трубку.

– Вот я, – продолжал он, – нанял себе домик возле Кунцова. Очень дешево и очень удобно. Так что даже лишняя есть комната наверху.

Инсаров опять ничего не отвечал.

Берсенева затаился.

– Я даже думал, – заговорил он снова, выпуская дым тонкою струей, – что если бы, например, нашелся кто-нибудь... вы, например, так думал я... который бы захотел... который бы согласился поместиться у меня там наверху... как бы это хорошо было! Как вы полагаете, Дмитрий Никанорыч?

Инсаров вскинул на него свои небольшие глазки.

– Вы мне предлагаете жить у вас на даче?

– Да; у меня наверху там есть лишняя комната.

– Очень вам благодарен, Андрей Петрович; но я полагаю, средства мои мне не позволяют.

– То есть как же не позволяют?

– Не позволяют жить на даче. Мне две квартиры держать невозможно.

– Да ведь я... – начал было Берсенов и остановился. – Вам от этого никаких лишних расходов бы не было, – продолжал он. – Здешняя квартира осталась бы, положим, за вами; зато там все очень дешево; можно бы даже так устроиться, чтоб обедать, например, вместе.

Инсаров молчал. Берсенову стало неловко.

– По крайней мере навестите меня когда-нибудь, – начал он, погода немного. – От меня в двух шагах живет семейство, с которым мне очень хочется вас познакомить. Какая там есть чудная девушка, если бы вы знали, Инсаров! Там также живет один мой близкий приятель, человек с большим талантом; я уверен, что вы с ним сойдетесь. (Русский человек любит потчевать – коли нечем иным, так своими знакомыми.) Право, приезжайте. А еще лучше, переселяйтесь к нам, право. Мы бы могли вместе работать, читать... Я, вы знаете, занимаюсь историей, философией. Все это вас интересует, у меня и книг много.

Инсаров встал и прошелся по комнате.

– Позвольте узнать, – спросил он наконец, – сколько вы платите за вашу дачу?

– Сто рублей серебром.

– А сколько в ней всего комнат?

– Пять.

– Стало быть, по расчету, приходилось бы за одну комнату двадцать рублей?

– По расчету... Да помилуйте, она мне совсем не нужна. Просто стоит пустая.

– Может быть; но послушайте, – прибавил Инсаров с решительным и в то же время простодушным движением головы. – Я только в таком случае могу воспользоваться вашим предложением, если вы согласитесь взять с меня деньги по расчету. Двадцать рублей дать я в силах, тем более что, по вашим словам, я буду там делать экономию на всем прочем.

– Разумеется; но, право же, мне совестно.

– Иначе нельзя, Андрей Петрович.

– Ну, как хотите, только какой же вы упрямый!

Инсаров опять ничего не ответил.

Молодые люди условились насчет дня, в который Инсаров должен был переселиться. Позвали хозяина; но он сперва прислал свою дочку, девочку лет семи, с огромным пестрым платком на голове; она внимательно, чуть не с ужасом, выслушала все, что ей сказал Инсаров, и ушла молча, вслед за ней появилась ее мать, беременная на сносе, тоже с платком на голове, только крошечным. Инсаров объяснил ей, что он переезжает на дачу возле Кунцова, но оставляет квартиру за собой и поручает ей все свои вещи; портниха тоже словно испугалась и удалилась. Наконец пришел хозяин; этот сначала как будто все понял и только задумчиво проговорил: «Возле Кунцова?» – а потом вдруг отпер дверь и закричал: «За вами, што ль, фатера?» Инсаров его успокоил. «Потому, надо знать», – повторил портной сурово и скрылся.

Берсенеv отправился восвояси, очень довольный успехом своего предложения. Инсаров проводил его до двери с любезною, в России мало употребительною вежливостью и, оставшись один, бережно снял сюртук и занялся раскладыванием своих бумаг.

8

Вечером того же дня Анна Васильевна сидела в своей гостиной и собиралась плакать. Кроме ее, в комнате находился ее муж да еще некто Увар Иванович Стахов, троюродный дядя Николая Артемьевича, отставной корнет лет шестидесяти, человек тучный до неподвижности, с сонливыми желтыми глазками и бесцветными толстыми губами на желтом пухлом лице. Он с самой отставки постоянно жил в Москве процентами с небольшого капитала, оставленного ему женой из купчих. Он ничего не делал и навряд ли думал, а если и думал, так берег свои думы про себя. Раз только в жизни он пришел в волнение и оказал деятельность, а именно: он прочел в газетах о новом инструменте на всемирной лондонской выставке: «контробомбардоне» и пожелал выписать себе этот инструмент, даже спрашивал, куда послать деньги и чрез какую контору? Увар Иванович носил просторный сюртук табачного цвета и белый платок на шее, ел часто и много и только в затруднительных случаях, то есть всякий раз, когда ему приходилось выразить какое-либо мнение, судорожно двигал пальцами правой руки по воздуху, сперва от большого пальца к мизинцу, потом от мизинца к большому пальцу, с трудом приговаривая: «Надо бы... как-нибудь, того...»

Увар Иванович сидел в креслах возле окна и дышал напряженно, Николай Артемьевич ходил большими шагами по комнате, засунув руки в карманы; лицо его выражало неудовольствие.

Он остановился наконец и покачал головой.

— Да, — начал он, — в наше время молодые люди были иначе воспитаны. Молодые люди не позволяли себе манкировать старшим. (Он произнес: *ман* в нос, по-французски.) А теперь я только гляжу и удивляюсь. Может быть, не прав я, а они правы; может быть. Но все же у меня есть свой взгляд на вещи: не олухом же я родился. Как вы об этом думаете, Увар Иванович?

Увар Иванович только поглядел на него и поиграл пальцами.

— Елену Николаевну, например, — продолжал Николай Артемьевич, — Елену Николаевну я не понимаю, точно. Я для нее не довольно возвышен. Ее сердце так обширно, что обнимает всю природу, до малейшего таракана или лягушки, словом все, за исключением родного отца. Ну, прекрасно; я это знаю и уж не суюсь. Потому тут и нервы, и ученость, и паренье в небеса, это все не по нашей части. Но господин Шубин... положим, он артист удивительный, необыкновенный, я об этом не спорю; однако манкировать старшему, человеку, которому он все-таки, можно сказать, обязан многим, — это я, признаюсь, *dans mon gros bon sens*⁴ допустить не могу. Я от природы не взыскателен, нет, но всему есть мера.

Анна Васильевна позвонила с волнением. Вошел казачок.

— Что же Павел Яковлевич не идет? — проговорила она. — Что это я его дозваться не могу?

Николай Артемьевич пожал плечами.

— Да на что, помилуйте, вы хотите его позвать? Я этого вовсе не требую, не желаю даже.

— Как на что, Николай Артемьевич? Он вас беспокоил; может быть, помешал курсу вашего лечения. Я хочу объясниться с ним. Я хочу знать, чем он мог вас прогневать.

— Я вам повторяю, что я это не требую. И что за охота... *devant les domestiques*...⁵

Анна Васильевна слегка покраснела.

— Напрасно вы это говорите, Николай Артемьевич. Я никогда... *devant... les domestiques*... Ступай, Федюшка, да смотри, сейчас приведи сюда Павла Яковлевича.

⁴ При всем моем здравом смысле (*фр.*).

⁵ Перед прислугой (*фр.*).

Казачок вышел.

– И несколько это все не нужно, – проговорил сквозь зубы Николай Артемьевич и снова принялся шагать по комнате. – Я совсем не к тому речь вел.

– Помилуйте, Paul должен извиниться перед вами.

– Помилуйте, на что мне его извинения? И что такое извинения? Это все фразы.

– Как на что? его вразумить надо.

– Вразумите его вы сами. Он вас скорей послушает. А я на него не в претензии.

– Нет, Николай Артемьевич, вы сегодня с самого вашего приезда не в духе. Вы даже, на мои глаза, похудели в последнее время. Я боюсь, что курс лечения вам не помогает.

– Курс лечения мне необходим, – заметил Николай Артемьевич, – у меня печень не в порядке.

В это мгновение вошел Шубин. Он казался усталым. Легкая, чуть-чуть насмешливая улыбка играла на его губах.

– Вы меня спрашивали, Анна Васильевна? – промолвил он.

– Да, конечно, спрашивала. Помилуй, Paul, это ужасно. Я тобой очень недовольна. Как ты можешь манкировать Николаю Артемьевичу?

– Николай Артемьевич вам жаловался на меня? – спросил Шубин и с тою же усмешкой на губах глянул на Стахова.

Тот отвернулся и опустил глаза.

– Да, жаловался. Я не знаю, чем ты перед ним провинился, но ты должен сейчас извиниться, потому что его здоровье очень теперь расстроено, и наконец, мы все в молодых годах должны уважать своих благодетелей.

«Эх, логика!» – подумал Шубин и обратился к Стахову.

– Я готов извиниться перед вами, Николай Артемьевич, – проговорил он с учтивым полупоклоном, – если я вас точно чем-нибудь обидел.

– Я вовсе... не с тем, – возразил Николай Артемьевич, по-прежнему избегая взоров Шубина. – Впрочем, я охотно вас прощаю, потому что, вы знаете, я невзыскательный человек.

– О, это не подвержено никакому сомнению! – промолвил Шубин. – Но позвольте полюбопытствовать: известно ли Анне Васильевне, в чем именно состоит моя вина?

– Нет, я ничего не знаю, – заметила Анна Васильевна и вытянула шею.

– О Боже мой! – торопливо воскликнул Николай Артемьевич, – сколько раз уж я просил, умолял, сколько раз говорил, как мне противны все эти объяснения и сцены! В кои-то веки приедешь домой, хочешь отдохнуть, – говорят: семейный круг, *interieur*, будь семьянином, – а тут сцены, неприятности. Минуты нет покоя. Поневоле поедешь в клуб или... или куда-нибудь. Человек живой, у него физика, она имеет свои требования, а тут...

И, не dokonчив начатой фразы, Николай Артемьевич быстро вышел вон и хлопнул дверью. Анна Васильевна посмотрела ему вслед.

– В клуб? – горько прошептала она. – Не в клуб вы едете, ветреник! В клубе некому дарить лошадей собственного завода – да еще серых! Любимой моей масти. Да, да, легкомысленный человек, – прибавила она, возвысив голос, – не в клуб вы едете. А ты, Paul, – продолжала она, вставая, – как тебе не стыдно? Кажется, не маленький. Вот теперь у меня голова заболела. Где Зоя, не знаешь?

– Кажется, у себя наверху. Рассудительная сия лисичка в такую погоду всегда в свою норку прячется.

– Ну, пожалуйста, пожалуйста! – Анна Васильевна поискала вокруг себя. – Рюмочку мою с натертым хреном ты не видел? Paul, сделай одолжение, вперед не серди меня.

– Где вас рассердить, тетушка? Дайте мне вашу ручку поцеловать. А хрен ваш я видел в кабинете на столике.

– Дарья его вечно где-нибудь позабудет, – промолвила Анна Васильевна и удалилась, шумя шелковым платьем.

Шубин хотел было пойти за ней, но остановился, услышав за собою медлительный голос Увара Ивановича.

– Не так бы тебя, молокососа... следовало, – говорил вперемежку отставной корнет.

Шубин подошел к нему.

– А за что же бы меня следовало, достохвальный Увар Иванович?

– За что? Млад ты, так уважай. Да.

– Кого?

– Кого? Известно, кого. Скаль зубы-то.

Шубин скрестил руки на груди.

– Ах вы, представитель хорового начала, – воскликнул он, – черноземная вы сила, фундамент вы общественного здания!

Увар Иванович заиграл пальцами.

– Полно, брат, не искушай.

– Ведь вот, – продолжал Шубин, – не молодой, кажется, дворянин, а сколько в нем еще таится счастливой, детской веры! Уважать! Да знаете ли вы, стихийный вы человек, за что Николай Артемьевич гневается на меня? Ведь я с ним сегодня целое утро провел у его немки; ведь мы сегодня втроем пели «Не отходи от меня»; вот бы вы послушали. Вас, кажется, это берет. Пели мы, сударь мой, пели – ну и скучно мне стало; вижу я: дело неладно, нежности много. Я и начал дразнить обоих. Хорошо вышло. Сперва она на меня рассердилась, а потом на него; а потом он на нее рассердился и сказал ей, что он только дома счастлив и что у него там рай; а она ему сказала, что он нравственности не имеет; а я ей сказал: «Ах!» по-немецки; он ушел, а я остался; он приехал сюда, в рай то есть, а в раю ему тошно. Вот он и принялся брюзжать. Ну-с, кто теперь, по-вашему, виноват?

– Конечно, ты, – возразил Увар Иванович.

Шубин уставился на него.

– Осмелюсь спросить у вас, почтенный витязь, – начал он подобострастным голосом, – эти загадочные слова вы изволили произнести вследствие какого-либо соображения вашей мыслительной способности или же под наитием мгновенной потребности произвести сотрясение в воздухе, называемое звуком?

– Не искушай, говорят! – простонал Увар Иванович.

Шубин засмеялся и выбежал вон.

– Эй! – воскликнул четверть часа спустя Увар Иванович, – того... рюмку водки.

Казачок принес водки и закуски на подносе. Увар Иванович тихонько взял с подноса рюмку и долго, с усиленным вниманием глядел на нее, как будто не понимая хорошенько, что у него такое в руке. Потом он посмотрел на казачка и спросил: не Васькой ли его зовут? Потом он принял огорченный вид, выпил водки, закусил и полез доставать носовой платок из кармана. Но казачок уже давно отнес поднос и графин на место, и остаток селедки съел, и уже успел соснуть, прикорнув к барскому пальто, а Увар Иванович все еще держал платок перед собою на растопыренных пальцах и с тем же усиленным вниманием посматривал то в окно, то на пол и стены.

9

Шубин вернулся к себе во флигель и раскрыл было книгу. Камердинер Николая Артемьевича осторожно вошел в его комнату и вручил ему небольшую треугольную записку, запечатанную крупною гербовою печатью. «Я надеюсь, – стояло в этой записке, – что вы, как честный человек, не позволите себе намекнуть даже единым словом на некоторый вексель, о котором была сегодня утром речь. Вам известны мои отношения и мои правила, незначительность самой суммы и другие обстоятельства; наконец есть семейные тайны, которые должно уважать, и семейное спокойствие есть такая святыня, которую одни êtres sans coeur,⁶ к которым я не имею причины вас причислить, отвергают! (Сию записку возвратите.) Н.С.».

Шубин начертил внизу карандашом: «Не беспокойтесь – я еще пока платков из карманов на таскаю»; возвратил записку камердинеру и снова взялся за книгу. Но она скоро выскользнула у него из рук. Он посмотрел на заалевшее небо, на две молодые могучие сосны, стоявшие особняком от остальных деревьев, подумал: «Днем сосны синеватые бывают, а какие они великолепно зеленые вечером», – и отправился в сад, с тайною надеждой встретить там Елену. Он не обманулся. Впереди, на дороге между кустами, мелькнуло ее платье. Он нагнал ее и, поравнявшись с нею, промолвил:

– Не глядите в мою сторону, я не стою.

Она бегло взглянула на него, бегло улыбнулась и пошла дальше, в глубь сада. Шубин отправился вслед за нею.

– Я прошу вас не смотреть на меня, – начал он, – а заговариваю с вами: противоречие явное! Но это все равно, мне не впервой. Я сейчас вспомнил, что я еще не попросил у вас как следует прощения в моей глупой вчерашней выходке. Вы не сердитесь на меня, Елена Николаевна?

Она остановилась и не тотчас отвечала ему – не потому, чтоб она сердилась, а ее мысли были далеко.

– Нет, – сказала она наконец, – я нисколько не сержусь.

Шубин закусил губу.

– Какое озабоченное... и какое равнодушное лицо! – пробормотал он. – Елена Николаевна, – продолжал он, возвысив голос, – позвольте мне рассказать вам маленький анекдотец. У меня был приятель, а у этого приятеля был тоже приятель, который сперва вел себя, как следует порядочному человеку, а потом запил. Вот однажды рано поутру мой приятель встречает его на улице (а уж они, заметьте, раззнакомились), встречает его и видит, что он пьян. Мой приятель взял да отвернулся от него. А тот-то подошел, да и говорит: «Я бы не рассердился, – говорит, – если бы вы не поклонились, но зачем отворачиваться? Может быть, это я с горя. Мир моему праху!»

⁶ Существа без сердца (*фр.*).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Стоимость полной версии книги 39,90р. (на 31.03.2014).

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.